...Под управлением любви

Булат ОКУДЖАВА в беседе с Ириной РИШИНОЙ

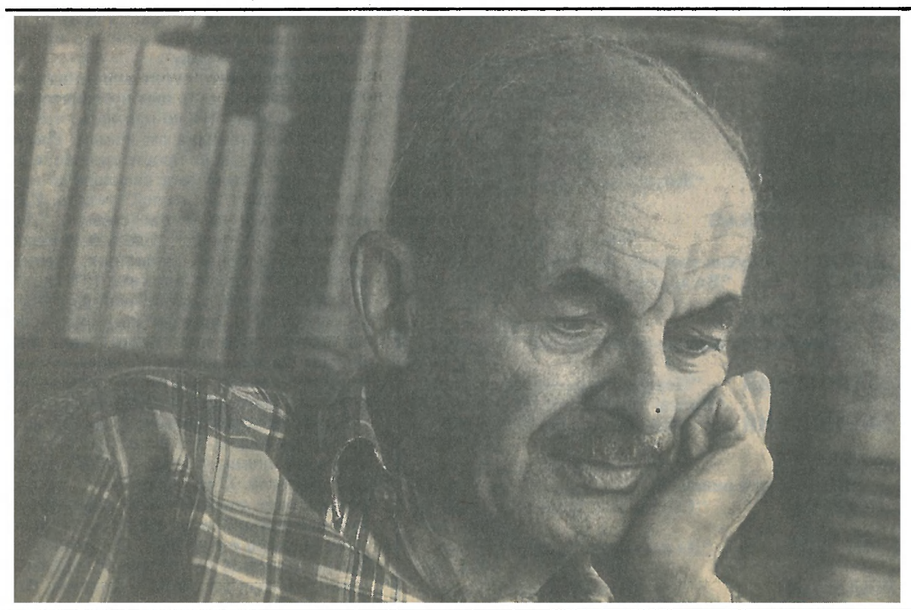

Фото Владимира БОГДАНОВА

...И друзей созову,
На любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу.

Признайтесь, вы ведь не прочли – мысленно пропели эти строки. Хорошо знакомая всем песня Б.Окуджавы с ее философией жизнелюбия, открытости, душевной щедрости обрела 9 мая совершенно конкретный смысл и реальную обратную связь: сотни, а может, и тысячи москвичей были в этот вечер на Трубной площади у театра "Школа современной пьесы", чтобы в день семидесятилетия ПОЭТА объясниться ему в любви. Может, это случайность, но все-таки очень хочется верить в некое как бы преднамеренное совпадение – день рождения человека и День Победы солдата Отечественной войны, с давних пор несущего службу как надежный часовой любви ("О, когда б только эти войска!.."). Это был первый по-настоящему прилюдный юбилей – ничего похожего ни в 50, ни в 60 устроить было невозможно: не дали бы, множество людей на площади – да вы что?! Битый властями и коллегами за свое "странное" творчество, за "подозрительный" инструмент (вот и из "Литературки" пришлось в свое время уйти – наверху возмущались: как же это, зав. отделом поэзии – и гитарист?!), он упорно продолжал "жить по своему усмотрению". И площадь поет себе, ему его же песню: "...не покупается, не покупается – доброе имя, талант и любовь!". И всего-то не покупается, не подкупается, не продается?! Да, бесценно, но так легко теряется. А ему верят, вот и пришли поздравить человека, не изменившего ни в чем себе, а значит, нам. Человека, который помогал любому, всякому, если кто, конечно, хотел не озвереть в клетке режима, сохранить себя, душу свою. Уникальный юбилей – сам его не устраивал. Это театр (его руководитель И.Рейхельгауз). Со своими стихами не выступал, сам не пел – это делали его литературные и музыкальные друзья, читатели, слушатели. В театральном зале примчавшийся туда прямо из аэропорта В.Спиваков читает: "Совесть, Благородство и Достоинство – вот оно, святое наше воинство...". А на площади – прямая трансляция, и люди видят на экране Б.Ахмадулину, Ф.Искандера, Р.Рождественского, М.Жванецкого, Ю.Кима, С.Юрского, Ю.Никулина, З.Соткилаву, О.Ефремова, С.Никитина и вместе с ними А.Козырева, А.Чубайса, Е.Гайдара, С.Красавченко, Е.Сидорова – перечислить всех невозможно, потому что действо это в честь юбиляра длилось несколько часов кряду. Прозвучали поздравления от Б.Ельцина, В.Черномырдина, М.Горбачева, Ю.Любимова... А потом, выступив в зале, многие музыканты, актеры, поэты и с ними Б.Окуджава вышли на балкон, и началось еще одно отделение вечера, на площадь посыпались цветы, поплыли голубые шарики.

Я видел такие лица в августе 91-го, сказал Е.Евтушенко, как хорошо, что они есть, что их много, что можно собраться вот так всем вместе.

"Булатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама Россия", – пели актеры ивановского театра поэзии, им горячо аплодировали и зал, и площадь. Да будет так.

– Булат, ты мне рассказывал когда-то, как встречал праздник Победы в Тбилиси, приехав туда после госпиталя. Тетка в честь дня рождения сделала подарок – сто рублей, на которые вы с приятелем купили бутылку вина, выпили и отправились гулять по городу. Люди целовались, обнимались, плакали, а тебя преследовало чувство вины, особенно когда говорил с теми, у кого кто-нибудь не вернулся. А как пошел на войну добровольцем в 42-м после девятого класса – об этом читатели знают по рассказу "Утро красит нежным светом...", написать который, хорошо помню, тебя "соблазнил" Г.Гулиа, редактор отдела публикаций "ЛГ", и к 30-летию Победы рассказ увидел свет.

– А спустя год Гулиа напомнил мне, что я могу писать и о более близких временах, чем XIX век, которым я тогда был очень увлечен. И я снова не смог ему отказать и засел за работу. Получился смешной рассказ "Частная жизнь Александра Пушкина..." – о том, как в молодости от большого самомнения я опростоволосился.

– Выполнил так называемый "социальный заказ".

– Из этого заказа, между прочим, получился в итоге цикл автобиографических рассказов, горьких, печальных, веселых – разных, который год за годом потихоньку пополняется. И в недавно вышедшем сборнике "Заезжий музыкант" есть новеллы, изданные впервые.

– Кроме "Утра...", заканчивающегося примечательными строками: "...Хотя я и не совершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверенность, что без меня победа бы досталась труднее", кроме этого рассказа, о войне написан еще один – "Уроки музыки", бескомпромиссно беспощадный по отношению к себе, щемяще грустный, и первая, опальная повесть "Будь здоров, школяр", и сценарии "Женя, Женечка и "катюша", "Верность", и прекрасные, пронзительные, трагические песни – от "Ах, война, что ж ты сделала, подлая..." до "Мы за ценой не постоим"... Перечисляю, потому что, создав все это, ты не в одном из произведений, а в разных, но во всех явил свою позицию, свой взгляд на войну. А недавно в диалоге с Н.Панченко, тоже фронтовиком, ты сделал признание, которое дало повод кое-кому говорить "о переоценке Великой Отечественной войны в демократическом стане". Напомню: "Б.О. Я встретился через много лет с одной своей американской приятельницей... она мне говорит: "Почему ты воевал?" Я говорю: "Как почему? Я боролся с фашизмом". Она на меня так посмотрела странно очень... И теперь я понял. Она посмотрела на меня как на идиота. Потому что для нее я тоже был фашист, только красный. – Н.П. Но ты же действительно боролся с фашизмом. – Б.О. Это все так, но я-то сам в ее глазах тоже был фашистом. – Н.П. Когда мы вернулись с фронта, мы все это поняли. – Б.О. Нет, я не понял. Я позже стал понимать".

– Пустое противопоставление ярлыков. Важно не то, как мы назывались, а то, что совершали. Да, действительно, мальчишкой я пошел воевать не из жажды приключений, хотя и романтиком тоже был, а потому, что с детства меня воспитывали в горячем неприятии фашизма. И только спустя десятилетия, когда я начал осознавать суть всего происшедшего, я понял, что мы всерьез и не отличались от немецких фашистов. Были разные лозунги и как бы разные идеологические обоснования, при этом у нас, думаю, имелось больше фальши, потому что гитлеровцы не скрывали своих вожделений и писали об этом достаточно прямо и откровенно, а мы говорили одно, делали другое.

– Когда ты употребляешь местоимение "мы" – "мы говорили, мы делали", то имеешь в виду не солдат, которые были рядом с тобой, в окопах, а государство наше – так?

– Конечно. Государство, режим. Считалось, что мы полная противоположность тому страшному явлению, которое именовалось фашизмом. А по сути, мы ведь тоже подавляли личность, миллионы уничтожив в застенках; тоже бредили распространением нашего (красного) цвета на весь мир, готовя к этому армию, создавая за рубежом компартии за наши деньги, поощряя их террористическую деятельность. И я не вижу серьезной разницы между красным и коричневым цветом. Но осознание этого в массе пришло потом, потом... Да и то, к сожалению, не до конца. Я думаю даже, что столкновение в 41-м было на почве конкуренции двух тоталитарных систем, жаждавших власти над миром. Гитлер действовал под лозунгом "освободить человечество от коммунизма", а мы – "освободить человечество от фашизма". И освобождали с помощью большого количества крови. С кровью, с человеческой жизнью мы никогда не считались, не ценили, потому у нас самые большие жертвы в той войне. И я, ветеран ее, сначала минометчик, потом радист тяжелой артиллерии, мотавшийся с передовой в госпиталь и снова на передовую, не брошу камень в таких же фронтовиков, искупавших своей кровью преступления партийной идеологии. ...Знаешь, для меня остались два праздника – замечательный, счастливый Новый год и другой – печальный, трагический и очень возвышенный – День Победы.

– А литература о войне тебя интересует или ты к ней остыл? "Ледокол" В.Суворова, например, читал? Его версию далеко не все принимают.

– Суворова прочитал с интересом и не склонен подозревать его в фальсификации: это очень на нас похоже. Мне трудно усомниться в том, что мы тоже готовились к захватническому маршу, просто нас опередили, и мы вынуждены были встать на защиту своей страны. Кто-то, может быть, и располагает документами, фактами, опровергающими суворовскую версию, – а у меня нет пока веских аргументов, серьезных оснований для неверия.

Из последних произведений о войне самое большое впечатление произвели вещи Астафьева и Быкова.

Видишь ли, когда я принес в "Новый мир" рукопись "Школяра", один из работников редакции, участник войны, заявил мне: "Написано хорошо, но у нас на фронте такого не было". Я ответил: "Наверное, вы были на другом участке". И, забрав рукопись, отвез ее К.Паустовскому в "Тарусские страницы". Разумеется, я не собираюсь сравнивать описание предфронтовой воинской части в романе Астафьева со своими впечатлениями, которые в начале 60-х вызвали резкое неприятие. У нас было все мягче, может, потому, что часть – другая, место – другое, Казахстан. Я встречал потом многих своих ровесников, которые прошли эту жуткую школу, и понял, что мне просто очень повезло.

Меня поразила ПРАВДА, как ни банально это звучит, – жесткая правда жизни, воспроизведенная в романе Астафьева чрезвычайно резко, прямо, на очень высоком уровне. Какое будет продолжение романа "Прокляты и убиты" – мне не известно. Я рассматриваю "Чертову яму" как законченную вещь, страшную, разоблачительную, откровенную во всех отношениях. Перед фронтом люди живут по звериным, лагерным законам. Вот он, советский концлагерь, в своей отвратительной неприглядности.

– Этот советский концлагерь тоже, по-видимому, проявление красного фашизма.

– Это его внутреннее состояние, но были у него и внешние проявления. Вошли наши войска в Германию, и стало очевидно, какие разные, к сожалению, освободители. Одни стреляли во врагов, солдат рейха, которые уничтожили их родных, смели с лица земли села и города, но находились и другие, кто под предлогом мести фашизму расправлялся с беззащитными немецкими гражданами, грабил, насиловал, убивал ни в чем не повинных мирных жителей.

"Стужа" Василя Быкова тоже оставила сильное впечатление – своей точностью, жизненной горечью. Есть хорошие произведения, читая которые, я слежу за сюжетом, беспокоюсь за судьбу героев. Но случается проза такого уровня, когда, читая, думаешь все время о себе, – по-моему, это самая высокая оценка работы художника. И "Стужа" Быкова, на мой взгляд, в этом ряду. Кто-то может подумать, что, наверное, я так настроен на прозу Астафьева и Быкова потому, что они – мои современники, фронтовики, во многом единомышленники. Но я уверен, что и у молодых, искушенных в литературе и чтении, т.е. у серьезных читателей будет такое же отношение к этой военной прозе.

– Тебе как прозаику, судя по всему, предназначено сочинять исторические вещи. И сейчас ты снова влез в историю: твой автобиографический роман "Упраздненный театр" – это 20–30-е годы, в которые мы сегодня особенно пристально всматриваемся, чтобы понять себя, истоки своих социальных, нравственных бед.

А вот скажи – ты утверждаешь, что, о чем бы ни была твоя проза, ты всегда пишешь о себе, даже когда речь идет о годах-веках, давно минувших. Но в таких произведениях, как "Свидание с Бонапартом", "Путешествие дилетантов", "Бедный Авросимов", "Похождения Шипова", в киноповести "Мы любили Мельпомену..." (в соавторстве с Ольгой Арцимович), где есть серьезная историческая основа и действуют реальные исторические лица, – к созданию этих образов, этих миров какой у тебя был подход?

– Трудно сказать, думаю, что поэтический. Однажды мне в руки попадает документ, и начинаются фантазии "на заданную тему". Недавно, через 20 с лишком лет, я перечитал "Бедного Авросимова" – сюжет помнил, героев тоже, но хотелось посмотреть сегодня, **как** я тогда это делал, как. Я заметил немало огрехов, слабых мест, но, к своему удовольствию, убедился снова, что там нет ни "положительных", ни "отрицательных" героев: человек делает другому подлость и тут же или вскоре совершает удивительный, благородный поступок. Все набиты всем, все несут в себе всё. Происходит это с моими героями, наверное, потому, что я там участвую, а я знаю себя очень хорошо.

– Авросимов, Шипов или Мятлев – персонажи вымышленные, пусть даже у них и были прототипы, как, например, князь Трубецкой у Мятлева, а меня занимают реальные исторические фигуры на подлинной сцене исторического театра: Елизавета, Николай I или Сумароков, Федор Волков – здесь тоже фантазийно-вольный подход?

– Все эти вещи читали в свое время ученые мужи, и особых претензий, каких-то нареканий со стороны серьезных историков не было. Они отдавали себе отчет в том, что эта проза не пособие для изучения отечественной истории, что ее персонажи все же плоды моих художественных усилий. Исторические реалии соблюдены, но Елизавета, возможно, никогда не позволяла себе того, что я заставил ее сказать.

– А в "Упраздненном театре" ты придерживаешься того же принципа, рисуя портреты таких известных, но совершенно разных, полюсно противоположных людей, как замечательный грузинский поэт Галактион Табидзе – совесть нации и Лаврентий Берия, которого иначе как злодеем не назовешь. Поскольку Галактион был мужем твоей тети Оли, ты мог сохранить воспоминания о нем. И он в романе вполне соответствует своим стихам и своей трагической судьбе. А Лаврентий – это какой-то другой Берия, мы такого не знали, правда, в последнее время о нем появились мемуарные публикации, где он предстает, например, безудержным женолюбцем, развратником, однако его сын, неожиданно объявившийся после сорока лет молчания, это упорно отвергает. Ты "сотворил" Лаврентия по собственным впечатлениям или по свидетельствам других людей?

– Время от времени, еще до ареста отца, а потом и мамы, и других членов нашей большой семьи, о нем возникали какие-то разговоры, какие-то воспоминания, потому что родители мои были с ним очень давно знакомы. Не могу сказать, что дружили, но приятельствовали, находясь в одном партактиве. К тому же они были одного приблизительно возраста. Я знал, что Лаврентий по-особому относился к моей маме, не то что влюблен был, но симпатизировал ей так, как я описал – в полушутку вроде бы, но это все было.

Я большой противник экстремизма – и в политике, и в литературе. Не люблю однозначных оценок, не люблю деления на черное и белое, на белое и красное – люди есть люди. Когда появилась возможность говорить о прошлом открыто, стали или возносить, или поносить. Конечно, Берия – зловещая фигура. Но он тоже был жертвой своего времени и своей партии, хотя активно, энергично участвовал в гулаговском кошмаре.

–Извини, пожалуйста, но на его месте другой, может, не был бы столь кровожадным?

– Вынужден был бы стать. Ну как же? А что, Ежов – меньший изувер? Он просто действовал недолго, но был таким же. Это все усугублялось: Ягода был страшным, Ежов еще страшней, а Берия страшней их обоих, и неизвестно, как было бы дальше, приди вместо Берии кто-нибудь другой... Обстоятельства заставляли их быть такими, и под это подводилось философское обоснование – под каждый нечеловеческий поступок, под всю кровавую деятельность этих людей. В образе Лаврентия я хотел показать человека, который творит зло. Это мне важно было. Потому что если пользоваться лишь публицистическими характеристиками, которые даются Сталину и его сподвижникам, то непосвященный увидит нечто, похожее на человека с длинными кровавыми клыками. В реальности все происходило будничнее, тоньше и сложнее. Вот я читаю письма Сталина его жене, письма милого, влюбленного мужчины, – все нормально. Или воспоминания о нем его детей. Он был, наверное, плохим отцом, занятым всегда своими делами, но была какая-то душевность к детям и волнение за них, желание им добра, хотя по-своему, конечно.

– Пленного сына он, однако, не выручил, не обменял...

– Страшный человек. Страшный, но человек. Мне не хотелось от этого отступать. Не хотелось. И я думаю, что так он выглядит еще страшнее. Когда вышел "Путешествие дилетантов", меня упрекали за то, что я не представил царя жестоким, солдафоном.

– Он действительно изображен светским, домашним – вот чай наливает...

– Чай наливает и за женщинами ухаживает, а в то же время может и засечь, и упечь.

– Скажу откровенно – когда ты рассказывал два-три года назад о замысле "Упраздненного театра" и мы много тогда говорили о расстрелянном отце, о маме, прожившей 19 лет в ссылке, во мне поселилось некое опасение, не будет ли в твоем сочинении чересчур много жесткости, категоричности. Повод к таким опасениям дали твои стихи о Сталине.

– Ты права, я рьяно участвовал тогда как публицист в начавшемся разоблачении тирана. Большой ценности этим стихам я не придаю и из последнего "Избранного" почти всё такого рода исключил, хотя от своих суждений не отказываюсь. Это был период, когда всем дали, наконец, выкрикнуть...

– Буквально как в песне: "Дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке".

– И я крикнул. Если говорить о серьезной поэзии, о серьезной художественной прозе, то там подобного быть не должно. А в "Упраздненном театре" к тому же все события запечатлены глазами ребенка. Меня удивило, что такой вдумчивый, по-моему, человек, как критик В.Камянов, произнес о романе неплохие слова, поразился, что мой герой с любовью относится к своим родителям-коммунистам, которые творили то-то и то-то. А как же нормальный ребенок может видеть иначе? Почему надо так примитивно судить? Этого я не принимаю. Это тоже крайность.

В последующем (если буду писать продолжение романа), когда мой герой станет взрослеть, многое понимать, конечно, я начну постепенно ставить все на свои места.

– Похожее происходит сегодня, мне кажется, с нашим обществом – мы тоже в детском возрасте, мы тоже только начинаем прозревать и многого еще не понимаем.

– Мой сын, которому не 8–12, а 30 лет, правильно, по-моему, сказал: "Наше общество напоминает мне детей, которые хотят выглядеть взрослыми".

– Название "Упраздненный театр" я расшифровала для себя так: 70-летний советский театр упразднен, вернее, идет его судорожное упразднение. Жизнь в том государстве завершена – а дальше что? Что тебе видится?

– Мне ничего не видится. Я не оракул, не пророк. Единственное, что могу сказать: должно наступить новое качество. Процесс мучительный, трагический, но он совершается – хотим мы этого или нет. Вообще в отношении к истории мы всегда были людьми очень неумными. История живет по своим законам, помимо нас. И наша задача – не видоизменять ее, а изучать, понимать и споспешествовать. А мы пытались, старались видоизменить исторический процесс по своему капризу, по своей идеологии, по своим пристрастиям случайным. Это от неграмотности. И ничем хорошим никогда не заканчивалось. Вот В.Пьецух в "Гадании на бобах" ("ЛГ", № 17) высказал мысль, которая уже давно меня волнует. Я достаточно серьезно занимался русской историей и в нынешних обстоятельствах варюсь, не отстраняюсь. Сравнивая и думая о пути России, я в отличие от полуграмотных национал-патриотов, которые утверждают, что Россия была идеальной страной, а большевики ее испортили, понимаю, что все это несусветная чушь. И она тоже от неграмотности. Большевики просто сильно усугубили уже существовавшее. В России много было прекрасного. Но немало было и есть ужасного, отвратительного. С этим мы сегодня сталкиваемся постоянно.

Чаадаев сказал когда-то, что главная беда России – ее география. Я понимаю под этим и пространство, и разноплеменность. Да, разумеется, это серьезное препятствие в развитии. Но я вижу и другие очень серьезные вещи – знаменитую неприхотливость российского народа, которую всегда воспевали, путая с терпеливостью. А это разные вещи. Терпение бывает у человека, осознающего свое бедственное положение, но вынужденного смириться. А неприхотливость – это незнание лучшего, а отсюда – наслаждение ничтожным.

Приобретены эти качества не за последние семь десятилетий, они выработаны историческим процессом, государственным устройством России, длительным рабством.

Беда нашего общества заключается в том, что мы никогда не имели института демократии. Говорят, что было новгородское вече, а некоторые разглядели демократию при Иване Грозном – бояре там что-то решали... Демократия – состояние души и вырабатывается в течение длительного времени при благоприятных обстоятельствах.

В России никогда не было института свободы. Было понятие воли и стремление к воле, то есть к свободе действий вне рамок закона. Не случайно анархия родилась в России и была здесь всегда почитаема. На первый взгляд, разницы между свободой и волей вроде бы никакой нет, а на самом деле она весьма существенна. Если в состоянии воли ты можешь делать все, что хочешь, то в состоянии свободы ты можешь тоже делать все, что хочешь, но так, чтобы не мешать окружающим.

– Это напомнило мне старинное правило хорошего тона, которое ты взял эпиграфом к "Путешествию дилетантов": "...Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть!"

– Мы не умеем так жить, потому что никогда не уважали личность – зато уважали и ублажали начальство. Мы не уважали закон – не где-нибудь, а у нас родилась пословица "Закон – что дышло..." И все это знают, но стараются не просто помалкивать, а еще и доказывать, что в старой России закон любили, это большевики отучили его почитать. Пока мы все, наше общество, эти качества не приобретем, я думаю, ничего путного мы создать не сможем, даже если во главе нас встанет гений. Только постепенный процесс и повышение уровня культуры. И, конечно, мы должны, наконец, осудить КПСС и коммунистическую идеологию. Попустительство в этом вопросе, на мой взгляд, преступно. Ситуация сложная: с одной стороны, мы находимся в таких обстоятельствах, когда, как это ни печально, как это ни страшно, нам трудно обойтись без авторитарного режима. Но, с другой стороны, в условиях нашего общества он тут же перерастет в тоталитарный – как быть? То есть нужна сила, но не насилие, нужна жесткость, но не жестокость! Сила – это средство защиты, насилие – это средство давления, а у нас очень легкомысленно относятся к своему любимому языку и путают понятия.

И еще я вот что хочу сказать. Все разговоры наших замечательных западных друзей о том, что позорно в демократическом обществе запрещать оппозиционную прессу, выглядят смешно, потому что никакого демократического общества у нас пока нет и демократов пока нет. Мы все советские люди из одной школы. Но часть исповедует демократию и мечтает создать демократическое общество, а часть не хочет. И потом, речь шла не о запрете оппозиционной прессы, она существует,– речь шла о фашистских листках, которые сегодня, к огорчению, опять разрешено выпускать! Вот и все, что было. Чего же шухер такой устроили как будто бы неглупые люди? Скорее всего от желания покричать, чтоб услышали, – сказывается в этом комплекс невостребованности.

– К сожалению, у одних комплекс невостребованности, жажда быть у всех на виду, на слуху, а у других, наоборот, желание отойти в сторону – устали, потеряли веру в демократические преобразования, а в результате в демократическом стане разброд – кто в лес, кто по дрова... Помню, как переживал эту ситуацию Алесь Адамович. В последнем интервью он говорил мне: "Я сказал известному демократу, который посетовал, что не хочется ему больше политикой заниматься: "Это как же – хирург взрезал больное место, увидел, что и гноя много, и хлопот невпроворот, и заявил: "Да пойду я, а вы тут сами!" Нет уж, братцы, уходить не имеем права, и именно потому, что все так не ладится. Всем опротивели конфронтация, демагогия, толчение воды в ступе".

– Опротивели. В истинно демократическом обществе есть иммунитет против зла. Призыв президента к согласию, даже если он не даст скорого конкретного результата, все равно был крайне необходим, потому что стремление призвать к согласию уже есть попытка начать вырабатывать иммунитет против зла. Какие-то пункты президентского документа могут вызвать возражения, замечания, но в целом я с этим призывом не могу не согласиться.

– А мера компромисса, мера уступок? Как не доверяя сотрудничать?

– А как сотрудничают, строят деловые отношения разные государства? Пусть так, если мы не хотим гражданской войны. Не устраивать мордобой, не оскорблять друг друга, а пытаться разговаривать, что же еще?

– Вернемся к литературе. Когда два года назад мы вели с тобой разговор об "Упраздненном театре" и я пыталась выяснить смысл названия, ты пояснил: "Сочинитель может и дальше писать и печататься, но кончился определенный период, отпущенный на его открытия. То есть мой личный театр упразднен".

– Я подумал сейчас о другом примере. Мать родила сына, воспитывает его, она в силе, в соку, она делает из него человека, потом она постарела, он вырос, взрослый... Она – что? – перестала быть его матерью? Нет, не перестала, она его любит, но он живет другой жизнью, и в этом смысле она свое предназначение выполнила.

– Но я только в одном не хочу с тобой соглашаться – когда ты говоришь, что кончился период, отпущенный тебе на открытия. Никто не знает про себя ничего, а может, главное впереди? У художника, мне кажется, всегда есть надежда, что если не главное, то все равно что-то значительное впереди.

– А я только и живу благодаря этой надежде. Но все-таки я считаю, если говорить, допустим, о стихах под аккомпанемент, что главное – сделано, я высказался.

– Твои стихи и песни, это говорили чуть ли не все выступавшие на недавней встрече в МГУ, стали нравственной, духовной опорой для нескольких поколений, без них непредставима наша жизнь.

– Для меня большая честь – такое мнение о моей работе. Я и сегодня не потерял способности работать, а просто изменилось время, и создать что-нибудь подобное тому, что вызвало к жизни мои прежние стихи, я, конечно, не смогу, я это прекрасно понимаю... Но стихи пишу и публиковать их буду. Вот три, еще не известных читателям, из новой журнальной подборки.

* * *

Ф.Искандеру
посвящение

Жизнь как будто ничего
возле дома своего.
Но едва свернешь в сторонку –
сразу все – на одного.

Так и хочется спросить:
чем я вам мешаю жить?
Почему, едва я выйду,
нужно вам меня убить?

Отвечают: потому,
неизвестно почему,
но у нас от сотворенья
нет пощады никому.

Малеевка, декабрь, 1979 г.

* * *

Я – враг весенней суеты
и друг осеннего покоя.
С весною так легко на "ты",
когда все рюмки налиты,
когда все кудри завиты,
накрашены, и все такое.

Мне осенью целебней жить,
возвышенней, как в старой драме,
когда внезапно между нами
давно оборванная нить
соединяется узлами,
чтоб прошлое восстановить.

И я вхожу, как в молоко,
в осенний дым, и понемногу
нащупываю в нем дорогу.
Пусть медленно. И слава Богу,
что в нем не видно далеко.

1993

* * *

Вот странный инструмент
для созиданья строчек,
которых в первый миг никто
понять не хочет.
Вот странный инструмент:
два уха, два зрачка,
изгиб надменных губ и шепоток
сверчка.

Под ним внизу – сама конструкции
основа –
в ней буйствует душа, разогревая
слово.
Меж ними – коридор, на нем,
его деля, –
то крестик, то кадык, то галстук,
то петля.

Январь, 1994 г.

– День рождения для тебя что-то значит?

– В молодости день рождения – это было радостно: я повзрослел. А теперь – что? Ну, конечно, дата...

– Серьезная дата – 70.

– Не представлял, что доживу до этой цифры. Полагаю, что я прожил интересную жизнь, трудную, во многом печальную, но в то же время очень интересную. Думаю, как бы еще продержаться и что-то еще сделать. Замыслов много, да, боюсь, не осилю: хватит ли фантазии и вдохновения?..

Поздравляем юбиляров

Содружество союзов писателей, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы сердечно поздравляют наших майских юбиляров, участников Великой Отечественной войны Виктора Астафьева, Николая Панченко, Булата Окуджаву, Бориса Васильева, Артема Анфиногенова, и желают им многих и добрых лет в литературе и жизни.

Международное сообщество писательских союзов с глубоким прискорбием извещает о кончине известного писателя, участника Великой Отечественной войны

СТАДНЮКА
Ивана Фотиевича,

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.